

Глава IV. Жестокость и искупление

“Продают правого за серебро и бедного — за пару сандалий.

Амос 2:6

Читатель, возможно, заметил, что спор между теми, кто считает деньги товаром, и теми, кто видит в них долговые расписки, так и не решен. Так что же такое деньги? Пока ответ кажется очевидным: и то и другое. Много лет назад Кейт Харт, вероятно самый известный и самый авторитетный современный антрополог, занимающийся этим вопросом, отмечал, что у каждой монеты есть две стороны:

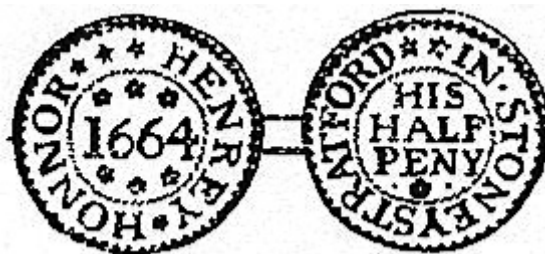
“Достаньте монету из кармана. Одна ее сторона — это «орел», символ политической власти, чеканящей монеты; другая — «решка», точное указание того, что стоит монета как средство обмена. Одна сторона напоминает нам, что государства выпускают деньги и что деньги изначально связывают людей в обществе и, возможно, являются символом этой связи. Другая сторона представляет монету как вещь, которая может определенным образом соотноситься с другими вещами[116].

Разумеется, деньги не были изобретены для того, чтобы устранить неудобство, возникающее при меновой торговле между соседями, — просто потому, что соседям не было нужды ее вести. Однако система кредитных денег в чистом виде также имела серьезные недостатки. Кредитные деньги основаны на доверии, а на конкурентных рынках доверие — товар редкий, особенно в деловых отношениях между посторонними людьми. Серебряные монеты с изображением Тиберия, имевшие хождение в Римской империи, имели намного большую стоимость, чем металл, из которого они делались[117]. Это происходило во многом потому, что правительство Тиберия было готово принимать их по такой стоимости. Персидское же правительство, вероятно, к такому готово не было, а правительство династии Маурьев и китайские власти точно не были готовы. Большое количество римских золотых и серебряных монет оказались в Индии и даже в Китае; по-видимому, это произошло прежде всего потому, что они изготавливались именно из золота и серебра.

То, что справедливо для таких обширных империй, как Римская или Китайская, тем более справедливо для шумерских или греческих городов-государств, не говоря уже о средневековой Европе или Индии, которые были раздроблены на множество королевств, городов и мелких княжеств. Как я отмечал, зачастую было не очень ясно, что происходило

внутри них и за их пределами. В рамках сообщества — города, гильдии или религиозной общины — в роли денег могло выступать всё что угодно, при условии что каждый знал, что кто-то был готов принять это в качестве уплаты долга. Особенно ярким примером здесь служит ситуация в некоторых городах Сиам в XIX веке: мелкой разменной монетой там были исключительно китайские игровые фишки из фарфора — эквивалент покерных фишек, — которые выпускались местными казино. Если одно из этих казино оказывалось банкротом или утрачивало лицензию, его владельцы должны были послать глашатая, который шел по улицам города, ударяя в гонг и возвещая, что у держателей таких фишек есть три дня на их обмен[118]. Для более крупных сделок, разумеется, использовались деньги, имевшие хождение и за пределами города (как правило, золото или серебро).

Точно так же на протяжении многих веков английские лавки пускали в обращение собственные деревянные, свинцовые или кожаные денежные знаки. Такая практика часто была незаконной, но сохранялась до относительно недавнего времени. Вот пример монет, которые в XVII веке выпускал некий Генри, имевший магазин в Стони-Стратфорд, в Бекингемшире.



Здесь действует всё тот же принцип: Генри пускал в оборот разменную монету в виде долговых расписок, которые можно было погасить в его собственном магазине. Они могли иметь широкое хождение, по крайней мере, среди тех людей, которые поддерживали с ним постоянные деловые отношения. Но маловероятно, что они использовались далеко за пределами Стони-Стратфорда; большинство таких денежных знаков обращались в радиусе нескольких районов. Для более крупных сделок каждый, в том числе Генри, требовал такие деньги, которые принимались везде, в том числе в Италии или во Франции[119].

На протяжении большей части истории даже там, где есть сложно устроенные рынки, мы обнаруживаем целую кучу самых разных денег. Некоторые из них могли изначально появиться из меновой торговли между иностранцами — часто приводят примеры использования в качестве денег какао-бобов в Мезоамерике и соли в Эфиопии[120]. Другие виды денег родились из кредитных систем или из споров о том, какие предметы должны приниматься в качестве уплаты налогов или прочих долгов, причем часто выбор таких предметов оспаривался. Можно многое узнать о балансе политических сил в данное время и в данном месте по тому, какие вещи использовались в качестве денег. Например, подобно тому как виргинские плантаторы сумели провести закон, обязывающий владельцев лавок принимать табак в качестве денег, средневековые крестьяне Померании неоднократно убеждали своих правителей в том, чтобы налоги, пени и таможенные пошлины, которые устанавливались в римской монете, уплачивались вином, сыром, перцем, цыплятами, яйцами и даже селедкой. Это сильно раздражало купцов, которым приходилось возить с собой все эти вещи, чтобы уплачивать сборы, или покупать их на месте по ценам, которые,

естественно, были выгодны тем, кто их продавал[121]. В этих краях преобладали не крепостные, а свободные крестьяне, имевшие довольно большой политический вес. В другие времена и в других местах сильнее оказывались интересы землевладельцев и купцов.

В общем, деньги — это почти всегда что-то между товаром и долговой распиской. Возможно, поэтому монеты — кусочки золота или серебра сами по себе являются ценным товаром, но, когда на них чеканился символ местной политической власти, они становились еще более ценными — по-прежнему остаются для нас квинтэссенцией денег. Они лучше всего отражают расхождения по поводу того, чем являются деньги в первую очередь. Более того, соотношение между двумя сторонами денег было поводом для постоянных политических споров.

Иными словами, борьба между государством и рынком, между правительствами и купцами не является неотъемлемой частью человеческой природы.

Может показаться, что две наши исходные истории — миф о меновой торговле и миф об изначальном долге — бесконечно далеки друг от друга, но и они в некотором смысле являются двумя сторонами одной монеты. Одна подразумевает другую. Только если мы представляем человеческую жизнь как ряд коммерческих сделок, мы можем рассматривать наши взаимоотношения с Вселенной в категориях долга.

За примером я позволю себе обратиться — этот выбор может показаться неожиданным — к Фридриху Ницше, который предельно ясно понимал, что происходит, когда вы пытаетесь описывать мир в коммерческих терминах.

Его книга «К генеалогии морали» вышла в 1887 году. В ней Ницше начинает с аргумента, который мог быть напрямую позаимствован у Адама Смита, но идет на шаг дальше, чем Смит, утверждая, что не только меновая торговля, но и купля и продажа сами по себе предшествуют любой другой форме человеческих отношений. Чувство личной обязанности, отмечает он,

“ проистекало из древнейших и изначальных личных отношений, из отношения между покупателем и продавцом, заимодавцем и должником: здесь впервые личность выступила против личности, здесь впервые личность стала тягаться с личностью. Еще не найдена столь низкая ступень цивилизации, на которой не были бы заметны хоть какие-либо следы этого отношения. Устанавливать цены, измерять ценности, измышлять эквиваленты, заниматься обменом — это в такой степени предвосхищало начальное мышление человека, что в известном смысле и было самим мышлением: здесь вырабатывались древнейшие повадки сообразительности, здесь хотелось бы усмотреть и первую накипь

человеческой гордости, его чувства превосходства над прочим зверьем. Должно быть, еще наше слово «человек» (Mensch) выражает как раз нечто от этого самочувствия: человек (manas) обозначил себя как существо, которое измеряет ценности, которое оценивает и мерит в качестве «оценивающего животного как такового». Купля и продажа, со всем их психологическим инвентарем, превосходят по возрасту даже зачатки каких-либо общественных форм организации и связей: из наиболее рудиментарной формы личного права зачаточное чувство обмена, договора, долга, права, обязанности, уплаты было перенесено впервые на самые грубые и изначальные комплексы общины (в их отношении к схожим комплексам) одновременно с привычкой сравнивать, измерять, исчислять власть властью[122].

Смит, как мы помним, тоже считал, что истоки языка, да и человеческого мышления в целом, лежат в нашей склонности «обменивать одну вещь на другую», в которой он также усматривал истоки рынка[123]. Стремление к торговле, к сравнению стоимости — это то, что делает нас разумными существами и отличает от прочих животных. Общество появляется позже, а значит, наши представления об ответственности перед другими людьми изначально формулировались в сугубо коммерческих терминах.

Однако, в отличие от Смита, Ницше никогда не приходило в голову, что можно представить такой мир, в котором все подобные сделки одновременно взаимно уравниваются. Любая система торгового учета, утверждал он, будет порождать кредиторов и должников. Он полагал, что именно из этого факта возникла человеческая нравственность. Обратите внимание, говорит он, на то, что немецкое слово schuld означает и долг, и вину. Изначально быть в долгу значило просто быть виновным, и кредиторы получали удовольствие от того, что наказывали несостоятельного должника, подвергая его тело «всем разновидностям глумлений и пыток, скажем, срезали с него столько, сколько на глаз соответствовало величине долга»[124]. Ницше даже дошел до утверждения о том, что варварские правды, оговаривавшие, сколько стоит выбитый глаз или отрезанный палец, изначально устанавливали не денежную компенсацию за потерянные глаза и пальцы, а количество тела должника, которое позволялось взять кредиторам! Стоит ли говорить о том, что никаких доказательств этого он не приводил (их и не существует)[125]. Но требовать доказательств значило бы опровергнуть это утверждение. Здесь мы имеем дело не с подлинным историческим аргументом, а с чистой игрой фантазии.

Когда люди стали создавать общины, продолжает Ницше, они неизбежно представляли свои отношения с ними в этих категориях. Племя обеспечивает им мир и безопасность, поэтому они в долгу перед ним. Подчиняться его законам — значит выплачивать ему долг (снова «уплата общественного долга»). Но и этот долг, говорит он, уплачивается — и здесь тоже — посредством жертвоприношения:

“ В рамках первоначальной родовой кооперации — мы говорим о первобытной эпохе — каждое живущее поколение связано с более ранним и в особенности со старейшим, родоначальным, поколением неким

юридическим обязательством (...) Здесь царит убеждение, что род обязан своей устойчивостью исключительно жертвам и достижениям предков — и что следует оплатить это жертвами же и достижениями: тем самым признают за собою долг, который постоянно возрастает еще и оттого, что эти предки в своем посмертном существовании в качестве могущественных духов не перестают силою своей предоставлять роду новые преимущества и авансы. Неужели же даром? Но для того неотесанного и «нищего душой» времени не существует никакого «даром». Чем же можно воздать им? Жертвами (первоначально на пропитание, в грубейшем смысле), празднествами, часовнями, оказанием почестей, прежде всего послушанием, — ибо все обычаи, будучи творениями предков, суть также их уставы и повеления. Достаточно ли им дают во всякое время? — это подозрение остается и растет[126].

Иными словами, Ницше считает, что если мы отталкиваемся от рассуждений Адама Смита о человеческой природе, то неизбежно придем к чему-то в духе теории изначального долга. С одной стороны, законам прародителей мы подчиняемся потому, что чувствуем себя в долгу перед ними: именно поэтому мы полагаем, что община имеет право действовать «как рассерженный кредитор» и наказывать нас за нарушение этих законов. В более широком смысле в глубине души мы чувствуем, что никогда не сможем расплатиться с прародителями, что никакая жертва (даже принесение в жертву первенца) не способна искупить нас. Мы трепещем перед прародителями, и чем сильнее и могущественнее становится община, тем могущественнее они кажутся, пока наконец прародитель не «преображается в бога». Когда общины превращаются в царства, а царства — в мировые империи, боги обретают вселенский характер, начинают претендовать на власть над Небесами и низвергать молнии и в конечном счете достигают кульминации в образе христианского Бога, который, будучи максимальным божеством, влечет за собой и «максимум чувства вины на земле». Даже наш прародитель Адам изображается уже не кредитором, а нарушителем закона, а значит, должником, который передал нам свое бремя первородного греха:

“ покуда наконец с нерасторжимостью вины не зачинается и нерасторжимость искупления, мысль о ее неоплатности (о «вечном наказании») (...) пока мы разом не останавливаемся перед парадоксальным и ужасным паллиативом, в котором замученное человечество обрело себе временное облегчение, перед этим штрихом гения христианства: Бог, сам жертвующий собою во искупление вины человека, Бог, сам заставляющий себя платить самому себе, Бог, как единственно способный искупить в человеке то, что в самом человеке стало неискупимым, — заимодавец, жертвующий собою ради своего должника из любви (неужели в это поверили?), из любви к своему должнику![127]

Все это выглядит очень логично, если вы исходите из начальной посылки Ницше. Проблема в том, что сама эта посылка — бессмысленна.

Есть все основания полагать, что Ницше знал, что эта посылка бессмысленна; на самом деле в этом и была вся суть. Ницше здесь отталкивается от стандартных, общепринятых взглядов на человеческую природу, преобладавших в его эпоху (и в значительной степени преобладающих до сих пор) и заключававшихся в том, что мы рациональные вычислительные машины, что торговый личный интерес предшествует обществу, что само «общество» лишь накладывает временные ограничения на вытекающий из этого конфликт. То есть он исходит из обычных буржуазных взглядов и развивает их в таком направлении, которое шокирует буржуазную публику.

Эта игра стоит свеч, и никто не играл в нее лучше Ницше; но ее рамки полностью задаются буржуазной философией. Она ничего не может сказать о том, что лежит за ее пределами. Лучшим ответом всякому, кто всерьез рассматривает фантазии Ницше о диких охотниках, отрезающих друг у друга куски тел за неуплату долга, могут быть слова настоящего охотника и собирателя, эскимоса из Гренландии, ставшего знаменитым благодаря «Книге эскимосов». Ее автор, датский писатель Петер Фрейхен, пишет, что однажды, когда он вернулся домой голодным из неудачного похода за моржами, один из более удачливых охотников отрезал ему несколько сотен фунтов мяса. Фрейхен горячо его поблагодарил. Охотник с негодованием ответил:

“ «В нашей стране все мы люди! — А раз мы люди, то мы помогаем друг другу и нам не нравится, когда кто-то нас за это благодарит. То, что я поймал сегодня, ты можешь поймать завтра. Мы здесь говорим, что подарками человек обретает рабов, а плетью — собак»[128].

Последняя строчка своего рода классика антропологии. Антропологическая литература об эгалитарных охотничьих обществах богата рассказами о людях, которые отказываются рассчитывать долги и кредиты. Вместо того чтобы считать себя человеком на том основании, что он способен производить экономические вычисления, охотник настаивал, что на самом деле быть человеком — значит отказаться от подобных расчетов и измерений и не пытаться запомнить, кто что кому дал, по той причине, что такого рода поведение неизбежно создаст мир, в котором мы начнем «сравнивать, измерять, исчислять власть властью» и превращать друг друга в рабов или собак посредством долга.

Дело не в том, что он, как многие миллионы подобных, преисполненных любви к равенству умов в истории, не понимал, что люди имеют склонность к расчетам. Если бы он этого не знал, он не смог бы сказать, что он делает. Конечно, у нас есть склонность к расчетам. У нас вообще много склонностей. В любой реальной жизненной ситуации эти склонности одновременно ведут нас в различных, противоположных друг другу направлениях. Каждая из них не более реальна, чем прочие. Вопрос в том, какую из них мы признаем ключевой для нашей человеческой природы и кладем в основу нашей цивилизации. Предложенный Ницше анализ долга полезен тем, что показывает, что если мы начинаем с посылки о том, что человеческое мышление исходит прежде всего из коммерческого расчета и что купля и продажа являются основами человеческого общества, то свои представления об отношениях с космосом мы неизбежно будем выражать в категориях долга.

Я думаю, что Ницше помогает нам понять еще и такой термин, как искупление. Рассказ Ницше о «первобытных временах» может быть абсурдным, но его описание христианства, того, как чувство долга преобразуется в неизбывное чувство вины, вина — в ненависть к самому себе, а ненависть к самому себе — в самоистязание, выглядит очень точным.

Почему, например, мы называем Христа «искупителем»? Изначально слово «искупление» значит выкуп или возвращение себе чего-то, что было оставлено в качестве обеспечения займа, приобретение чего-то посредством выплаты долга. Очень странно осознавать, что самая суть христианского учения, само спасение, принесение Богом в жертву своего сына во имя спасения человечества от вечного проклятия, должно описываться в категориях финансовой сделки.

Ницше исходил из тех же посылок, что и Адам Смит, но о ранних христианах этого не скажешь. Корни таких рассуждений лежат глубже, чем представление Смита о нации лавочников. Не только авторы Брахман заимствовали язык рынка для рассуждений о человеческой природе. На самом деле до определенной степени так поступали все мировые религии.

Это происходило потому, что все они, от зороастризма до ислама, родились из оживленных споров о роли денег и рынка в человеческой жизни и особенно о том, как эти институты соотносились с ключевыми вопросами — что люди должны были друг другу. Вопрос о долге и споры о нем затрагивали все стороны политической жизни той поры. Эти споры выливались в восстания, жалобы и создание реформаторских движений. Некоторые из этих движений находили союзников в храмах и дворцах, другие беспощадно подавлялись. Бóльшая часть требований, лозунгов и специфических вопросов, которые они поднимали, сегодня утрачены. Мы просто не знаем, какими были политические споры в сирийской харчевне в 750 году до н. э. В итоге тысячи лет мы созерцали священные тексты, полные политических аллюзий, очевидных для любого читателя, жившего в эпоху, когда они были написаны; но мы об их смысле можем только догадываться[129].

Одна из особенностей Библии состоит в том, что в ней сохранились некоторые обрывки этого более широкого контекста. Вернемся к понятию искупления: древнееврейские слова *padah* и *goal* — и то и другое переводятся как «искупление» — могли означать выкуп чего-то, что человек продал кому-то другому, прежде всего земли предков или какого-либо предмета, удерживавшегося кредиторами в качестве залога[130]. Именно последнее, по-видимому, и имели в виду пророки и богословы: выкуп залогов и особенно членов семьи должника, удерживавшихся как обеспечение долга. Судя по всему, в эпоху пророков экономика иудейских царств начала испытывать долговые кризисы, давно ставшие привычными в Месопотамии: в годы неурожая бедняки залезали в долги перед богатыми соседями или состоятельными заимодавцами в городах, теряли права на свои поля и становились держателями земли, которая прежде им принадлежала, а их сыновья и дочери отправлялись работать слугами в хозяйствах кредиторов или даже продавались в рабство за границу[131]. В книгах ранних пророков есть намеки на такие кризисы[132], но наиболее

явно о них говорится в Книге Неемии, написанной в персидские времена:

“ Были и такие, которые говорили: поля свои, и виноградники свои, и дома свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода.

Были и такие, которые говорили: мы занимаем серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников наших;

у нас такие же тела, какие тела у братьев наших, и сыновья наши такие же, как их сыновья; а вот, мы должны отдавать сыновей наших и дочерей наших в рабы, и некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших; и поля наши, и виноградники наши у других.

Когда я услышал ропот их и такие слова, я очень рассердился.

Сердце мое возмутилось, и я строго выговорил знатнейшим и начальствующим и сказал им: вы берете лихву с братьев своих. И созвал я против них большое собрание[133].

Неемия, виночерпий персидского царя, был евреем, родившимся в Вавилоне. В 444 году до н. э. он сумел уговорить Великого царя назначить его наместником его родной Иудеи. Он также получил разрешение заново отстроить иерусалимский храм, который Навуходоносор разрушил двумя столетиями ранее. В ходе работ были найдены и восстановлены священные тексты; в некотором смысле тогда и было создано то, что мы сегодня называем иудаизмом.

Очень скоро Неемия столкнулся с социальным кризисом. Вокруг было множество обедневших крестьян, не способных платить налоги; кредиторы забирали детей бедняков. Его первой реакцией стало провозглашение указа о «чистом листе» в классическом вавилонском стиле: он сам родился в Вавилоне и явно был знаком с этим принципом. Прощению подлежали все некоммерческие долги. Были установлены максимальные процентные ставки по кредитам. В то же время Неемии удалось обнаружить, изучить и снова ввести в действие многие древние иудейские законы, которые сохранились в Исходе, Второзаконии и Левите и в некоторых отношениях шли еще дальше, институционально закрепляя этот принцип[134]. Самым известным из них был закон о прощении долгов, гласивший, что все долги автоматически списываются «в субботний год» (то есть по истечении семи лет) и что все те, кто томился в неволе из-за таких долгов, должны быть освобождены[135].

В Библии, как и в Месопотамии, под «свободой» понималось прежде всего освобождение от долга. С течением времени в этом ключе стала истолковываться и сама история еврейского народа: освобождение из египетского рабства стало первым хрестоматийным действием искупления; исторические бедствия евреев (поражение, завоевание, изгнание) рассматривались как несчастья, которые должны были привести к финальному искуплению с приходом Мессии, хотя, как предупреждали пророки вроде Иеремии, произойти это могло только после того, как евреи искренне покаются в своих грехах (обращение друг друга в

рабство, поклонение ложным богам, нарушение заповедей)[136]. В таком свете принятие этого термина христианами вряд ли может удивить. Искупление было освобождением от бремени греха и вины, и конец истории должен ознаменоваться тем, что все долги будут полностью упразднены, а звуки ангельских труб возвестят об окончательном прощении грехов.

В таком случае «искупление» уже не подразумевает выкуп чего-то. Речь идет скорее о разрушении всей системы учета. Во многих городах Ближнего Востока так буквально и происходило: во время списания долгов одним из обычных действий была церемония уничтожения табличек, содержащих финансовые записи, — это действие повторялось, хотя и с меньшей помпой, в ходе любого крупного крестьянского восстания в истории[137].

Это ведет к другой проблеме: что можно сделать в то время, которое предшествует окончательному искуплению? Эту проблему Иисус поднимает в одной из своих самых волнующих притч — притче о не прощающем рабе:

“Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими;

когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов;

а как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и всё, что он имел, и заплатить;

тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на мне, и всё тебе заплачу.

Государь, умиловившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему.

Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен.

Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: потерпи на мне, и всё отдам тебе.

Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга.

Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему всё бывшее.

Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб! весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня;

не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?

И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга[138].

Это поразительный текст. С одной стороны, это шутка; с другой — трудно представить себе что-то более серьезное.

Начнем с царя, пожелавшего «сосчитаться» со своими рабами. Исходная посылка абсурдна. Цари, как и боги, не могут вступать в отношения обмена со своими подданными, поскольку равенство между ними невозможно. А этот царь явно является Богом. Разумеется, ни о каком сведении счетов речи быть не может.

Поэтому в лучшем случае мы имеем дело с царской причудой. Абсурдность исходной посылки подчеркивает сумма, которую должен царю первый же человек, приведенный к нему. В Древней Иудее сказать, что кто-то должен кредитору «десять тысяч талантов», означало приблизительно то же самое, что сегодня сказать, что кто-то должен «сто миллиардов долларов». Эта цифра тоже шутка; она просто указывает «сумму, которую не смог бы выплатить ни один человек»[139].

Оказавшись перед необходимостью выплатить бесконечный экзистенциальный долг, раб только и может, что соврать: «Сто миллиардов? Конечно, смогу! Дай мне только еще немного времени». Потом Господь так же произвольно его прощает.

Далее обнаруживается, что прощение имеет одно условие, о котором раб не знает. От него требуется, чтобы он сам вел себя так же по отношению к другим людям — в данном конкретном случае по отношению к другому рабу, который должен ему тысячу баксов, если перевести это на современный язык. Провалив испытание, первый раб попадает в ад на вечные времена или «пока он не отдаст всего долга» — в данном случае это ровно то же самое.

Долгое время эта притча представляла большую сложность для богословов. Обычно ее истолковывают как рассказ о бесконечной щедрости и милости Господа и о том, как мало он требует от нас взамен; то есть косвенно подразумевается, что вечное истязание нас в аду не так уж необоснованно, как может показаться. Конечно, непрощающий раб удивительно гнусный персонаж. Но меня здесь больше всего поражает негласное утверждение, что прощение в этом мире вообще невозможно. Фактически именно это и говорят христиане, когда зачитывают «Отче наш» и просят Бога простить «нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим»[140]. История, изложенная в притче, повторяется тут почти дословно, и последствия ее столь же мрачные. В конце концов, большинство христиан, читающих эту молитву, знают, что они обычно не прощают своих должников. Почему тогда Бог будет прощать им их грехи?[141]

Более того, здесь еще и повторяется старое утверждение о том, что на самом деле мы не смогли бы соответствовать этим стандартам, даже если бы попытались. Одна из причин,

почему новозаветный Иисус является столь притягательным персонажем, состоит в том, что никогда толком не ясно, что именно он нам говорит. Всё можно истолковывать двояко. Когда он призывает своих последователей прощать все долги, не бросать первый камень, подставлять другую щеку, возлюбить врагов своих, раздавать свое имущество беднякам, неужели он и правда надеется, что они будут так поступать? Или же, требуя этого, он упрекает нас в том, что раз мы к этому не готовы, то все мы грешники, которые могут спастись только в ином мире? Ведь такая постановка вопроса может использоваться для того, чтобы оправдать всё что угодно. Согласно ей человеческая жизнь порочна в принципе и даже духовные дела можно выразить в коммерческих терминах. Все эти подсчеты грехов, наказаний и прощений, которые вели дьявол и святой Петр с их конкурирующими учетными книгами, обычно сопровождалось подспудным чувством, что всё это фарс, поскольку сам тот факт, что мы вынуждены играть в эти расчеты грехов, показывает, что, в сущности, прощения мы недостойны.

Мировые религии, как мы увидим, полны такого рода двусмысленности. С одной стороны, они выступают против рынка; с другой — пытаются выразить свой протест в коммерческих категориях, словно утверждая, что превращение человеческой жизни в череду сделок — дело не очень хорошее. Мне кажется, что даже эти немногие примеры показывают, как сильно ретушируют действительность общепринятые версии происхождения и истории денег. Есть даже какая-то наивность в историях о соседях, меняющих картошку на лишнюю пару обуви. Когда древние размышляли о деньгах, вряд ли им в голову в первую очередь приходил дружеский обмен.

Конечно, кто-то мог подумать о своем счете в местном шинке или, если это был купец или управляющий, о складах, счетных книгах или экзотических заморских товарах. Но большинству скорее в голову приходила продажа рабов и выкуп пленников, алчность откупщиков и бесчинства победоносных армий, залого и проценты, кражи и вымогательство, месть и наказание и прежде всего противоречие между, с одной стороны, необходимостью денег для нахождения невесты с целью создания семьи и рождения детей и, с другой — использованием этих же самых денег для разрушения семей посредством накопления долгов, в оплату которых кредитор забирал жену и детей. «Некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших». Можно только догадываться о том, что означали эти слова для отца из патриархального общества, в котором способность мужчины защищать честь своей семьи была всем. Вот что означали деньги для большинства людей почти на всем протяжении человеческой истории: леденящую душу перспективу, что сыновей и дочерей заберут в дома омерзительных чужаков, где они будут чистить отхожие места и время от времени оказывать сексуальные услуги, подвергаться всем мыслимым видам насилия и злоупотреблений в течение долгих лет, если не вечно, в то время как их родители будут бессильно ждать, пряча глаза от соседей, которые точно знают, что происходит с теми, кого они должны были защищать[142]. Разумеется, это худшее, что могло произойти с человеком, — именно поэтому в притче это могло служить заменой преданию в руки истязателям на всю жизнь. И это только с точки зрения отца. Можно только догадываться, что чувствовала при всем этом дочь. А ведь в течение человеческой истории многие миллионы дочерей узнали (многие узнают и сейчас), что это означает.

Могут возразить, что это было в порядке вещей, так же как и наложение дани на завоеванные народы: это могло вызывать негодование, но не считалось вопросом нравственности, справедливости и несправедливости. Такие вещи случаются. Крестьяне так обычно и относились к подобным феноменам на всем протяжении человеческой истории. Но больше всего в исторических хрониках поражает то, что в случае долговых кризисов многие относились к этому не так. Многие возмущались. Этим недовольных было так много, что большая часть нашей современной лексики, касающейся социальной справедливости, рабства и освобождения, до сих пор отражает древние споры о долгах.

Это тем более удивительно, что многие другие вещи принимались как совершенно нормальные. Такого гнева не вызывала, например, кастовая система или, если уж на то пошло, институт рабства[143]. Безусловно, и рабы, и неприкасаемые часто жили в не менее ужасающих условиях. Бесспорно, многие протестовали против этого. Почему же именно выступления должников имели такой нравственный вес? Почему должникам лучше других удавалось привлечь к своим проблемам внимание священников, пророков, чиновников и социальных реформаторов? Почему чиновники вроде Неемии так сочувственно относились к их жалобам, негодовали и собирали большие собрания?

Некоторые объясняют это практическими соображениями: долговые кризисы уничтожали свободное крестьянство, а именно свободных крестьян призывали на службу в армию[144]. Бесспорно, такой фактор был, но он, очевидно, не был единственным. Нет оснований полагать, что, скажем, Неемия, негодуя против ростовщиков, беспокоился в первую очередь о том, сможет ли он набрать рекрутов для персидского царя. Есть более фундаментальная причина.

Долг отличается тем, что в его основе лежит презумпция равенства.

Быть рабом или принадлежать к низшей касте — значит занимать более низкое положение. Здесь мы имеем дело с сугубо иерархическими отношениями. В случае долга мы имеем дело с двумя людьми, которые выступают равными сторонами в договоре. По крайней мере, в рамках договора они с юридической точки зрения одинаковы.

Можно добавить, что когда в древнем мире люди, более или менее равные по социальному положению, одалживали друг другу деньги, то условия займа, как правило, были весьма щадящими. Проценты зачастую не взимались, а если они и были, то очень низкими. «И не бери с меня процент, — писал один состоятельный ханаанин другому в табличке, датированной приблизительно 1200 годом до н. э., — в конце концов, мы оба благородные люди»[145]. Между близкими родственниками многие кредиты, видимо, представляли собой, как и сейчас, подарки, и никто всерьез не рассчитывал на то, что их будут возвращать. Совсем иное дело — займы, которые богачи предоставляли беднякам.

Проблема в том, что, в отличие от статусных различий вроде касты или рабства, между богатыми и бедными нет такой четкой грани. Можно себе представить реакцию крестьянина, который пришел в дом к состоятельному кузену, считая, что «люди должны помогать друг другу», а через год-два у него забрали виноградник и увели сыновей и дочерей. Такое поведение юридически могло быть оправданно, если заем представлялся не

как форма взаимопомощи, а как коммерческая сделка: договор есть договор. (Это также требовало возможности обратиться к высшей силе для обеспечения выполнения условий договора.) Но как бы то ни было, восприниматься оно могло только как ужасное предательство. Более того, если это поведение представлялось как нарушение договора, то всё дело превращалось в нравственную проблему: обе стороны должны быть равными, но одна из них не сумела выполнить условия сделки. Психологически это делало еще более болезненной бесправность положения должника, поскольку о нем могли сказать, что судьбу его дочери решила его собственная низость. Но от этого необходимость отбросить угрызения совести становилась тем более настоятельной: «У нас такие же тела, какие тела у братьев наших, и сыновья наши такие же, как их сыновья». Мы все одинаковы. Мы обязаны учитывать потребности и интересы других. Как мой брат мог так обойтись со мной?

Особенно убедительные нравственные аргументы должники могли выдвигать в Ветхом Завете. Авторы Второзакония постоянно напоминали своим читателям: не были ли евреи рабами в Египте и не освободил ли их всех Бог? Было ли справедливо отнимать землю у других, если они сами получили Землю обетованную, которой должны были делиться? Было ли справедливо, что потомки освобожденных рабов обращали в рабство детей друг друга?[146] Однако в подобных ситуациях аналогичные аргументы выдвигались почти повсюду в Древнем мире: в Афинах, Риме и даже в Китае, где, согласно легенде, древний император изобрел чеканку монет, для того чтобы выкупить детей семей, вынужденных продать их после череды опустошительных наводнений.

Почти на всем протяжении истории открытый политический конфликт между классами облекался в требование списания долгов, то есть освобождения тех, кто оказался в неволе, а также более справедливого распределения земли. В Библии и других религиозных традициях мы видим следы нравственных аргументов, которыми оправдывались эти требования: они могли облекаться в самые разнообразные формы, но всегда так или иначе выражались языком рынка.

Версия #2

Зверобой создал 26 июня 2025 13:42:02

Зверобой обновил 26 июня 2025 13:49:09